



Глава I

Прощанье

Часов около пяти утра на скотном дворе экономии¹ раздался звук трубы.

Звук этот, раздирающе-пронзительный и как бы расщепленный на множество музыкальных волокон, протянулся сквозь абрикосовый сад, вылетел в пустую степь, к морю, и долго и печально отдавался в обрывах раскатами постепенно утихающего эха.

Это был первый сигнал к отправлению дилижанса.

Все было кончено. Наступил горький час прощанья.

Собственно говоря, прощаться было не с кем. Немногочисленные дачники, испуганные событиями, стали разъезжаться в середине лета.

Сейчас из приезжих на ферме осталась только семья одесского учителя по фамилии Бачей — отец и два мальчика: трех с половиной и восьми с половиной лет. Старшего звали Петя, а младшего — Павлик. Но и они покидали сегодня дачу.

Это для них трубила труба, для них выводили из конюшни больших вороных коней.

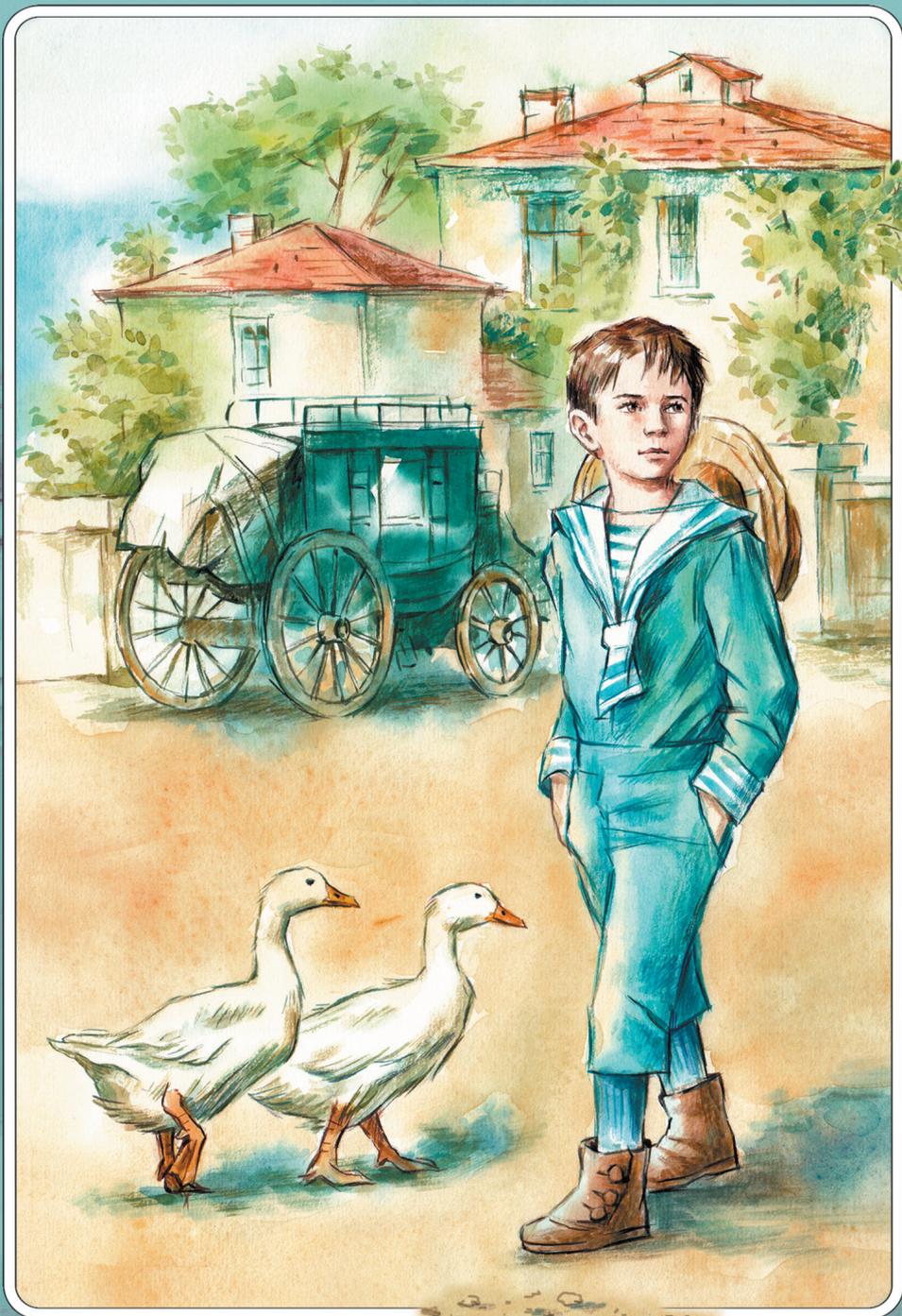
Петя проснулся задолго до трубы. Он спал тревожно. Его разбудило чириканье птиц. Он оделся и вышел на воздух.

Сад, степь, двор — все было в холодной тени. Солнце всходило из моря, но высокий обрыв еще заслонял его.

На Пете был городской праздничный костюм, из которого он за лето сильно вырос, — шерстяная синяя матроска с пристроченными вдоль по воротнику белыми тесемками, короткие штанишки, длинные фильдекосовые² чулки, башмаки на пуговицах и круглая соломенная шляпа с большими полями.

Поеживаясь от холода, Петя медленно обошел экономию, прощаясь со всеми местами и местечками, где он так славно проводил лето.

Все лето Петя пробегал почти нагишом. Он загорел, как индеец, привык ходить босиком по колючкам, купался три раза в день. На берегу он обмазывался с ног до головы красной морской глиной, выцарапывая на груди узоры, отчего и впрямь становился похож на краснокожего, особенно если втыкал в вихры синеголубые перья тех удивительно красивых, совсем сказочных птиц, которые вили гнезда в обрывах.



И теперь, после всего этого приволья, после всей этой свободы, — ходить в тесной шерстяной матроске, в кусающихся чулках, в неудобных ботинках, в большой соломенной шляпе, резинка которой натирает уши и давит горло!..

Петя снял шляпу и забросил ее за плечи. Теперь она болталась за спиной, как корзина.

Две толстые утки прошли, оживленно калякая, с презрением взглянув на раздетого мальчика, как на чужого, и нырнули одна за другой под забор.

Была ли это демонстрация или они действительно не узнали его, но только Пете вдруг стало до того тяжело и грустно, что он готов был заплакать.

Он всей душой почувствовал себя совершенно чужим в этом холодном и пустынном мире раннего утра. Даже яма в углу огорода — чудесная глубокая яма, на дне которой так интересно и так таинственно было печь на костре картошку, — и та показалась до странности чужой, незнакомой.

Солнце поднималось все выше.

Хотя двор и сад всё еще были в тени, но уже ранние лучи ярко и холодно золотили розовые, желтые и голубые тыквы, разложенные на камышовой крыше той мазанки³, где жили сторожа.

Заспанная кухарка в клетчатой домотканой юбке и холщовой сорочке, вышитой черными и красными крестиками, с железным гребешком в неприбранных волосах выколачивала из самовара о порог вчерашние уголья.

Петя постоял перед кухаркой, глядя, как прыгают бусы на ее старой, морщинистой шее.

— Уезжаете? — спросила она равнодушно.

— Уезжаем, — ответил мальчик дрогнувшим голосом.

— В час добрый.

Она отошла к водовозной бочке, завернула руку в подол клетчатой понёвы⁴ и отбила чоб⁵.

Толстая струя ударила дугой в землю. По земле покатались круглые сверкающие капли, заворачиваясь в серый порошок пыли.

Кухарка подставила самовар под струю. Самовар занял, наполняясь свежей тяжелой водой.

Нет, положительно ни в ком не было сочувствия!

На крокетной площадке, на лужайке, в беседке — всюду та же неприязненная тишина, то же безлюдье.

А ведь как весело, как празднично было здесь совсем недавно! Сколько хорошеньких девочек и озорных мальчишек! Сколько проказ, скандалов, игр, драк, ссор, примирений, поцелуев, дружб!

Какой замечательный праздник устроил хозяин экономии Рудольф Карлович для дачников в день рождения своей супруги Луизы Францевны!

Петя никогда не забудет этого праздника.

Утром под абрикосами был накрыт громадный стол, уставленный букетами полевых цветов. Середину его занимал сдобный крендель величиной с велосипед.

Тридцать пять горящих свечей, воткнутых в пышное тесто, густо посыпанное сахарной пудрой, обозначали число лет рожденницы.

Все дачники были приглашены под абрикосы к утреннему чаю.

День, начавшийся так торжественно, продолжался в том же духе и закончился детским костюмированным вечером с музыкой и фейерверком.

Все дети надели заранее сшитые маскарадные костюмы. Девочки превратились в русалок и цыганок,

а мальчики — в индейцев, разбойников, китайских мандаринов⁶, матросов. У всех были прекрасные, яркие, разноцветные коленкоровые⁷ или бумажные костюмы.

Шумела папиросная бумага юбочек и плащей, качались на проволочных стеблях искусственные розы, струились шелковые ленты бубна.

Но самый лучший костюм — конечно, конечно же! — был у Пети. Отец собственноручно мастерил его два дня, то и дело роняя пенсне. Он близоруко опрокидывал гуммиарабик⁸, бормотал в бороду страшные проклятья по адресу устроителей «этого безобразия» и вообще всячески выражал свое отвращение к «глупейшей затее».

Но, конечно, он хитрил. Он просто-напросто боялся, что костюм выйдет плохой, боялся осрамиться. Как он старался! Но зато и костюм — что бы там ни говорили! — получился замечательный.

Это были настоящие рыцарские доспехи, искусно выклеенные из золотой и серебряной елочной бумаги, натянутой на проволочный каркас. Шлем, украшенный пышным султаном⁹, выглядел совершенно так же, как у рыцарей Вальтера Скотта¹⁰. Даже забрало поднималось и опускалось.

Все это было так прекрасно, что Петю поставили во второй паре рядом с Зоей, самой красивой девочкой на даче, одетой в розовый костюм доброй феи.

Они прошли под руку вокруг сада, увешанного китайскими фонариками. Невероятно яркие кусты и деревья, охваченные зелеными и красными облаками бенгальского огня, вспухали то здесь, то там в таинственной тьме сада. В беседке, при свечах под стеклянными колпаками, ужинали взрослые. Мотыль-

ки летели со всех сторон на свет и падали, обожженные, на скатерть.

Четыре ракеты выползли, шипя, из гущи бенгальского дыма и с трудом полезли в гору.

Но еще где-то в мире была луна. И это выяснилось лишь тогда, когда Петя и Зоя очутились в самой глубине сада. Сквозь дыры в листве проникал такой яркий и такой волшебный лунный свет, что даже белки девочкиных глаз отливали каленой синевой, и такой же синевой блеснула в кадке под старой абрикосой темная вода, в которой плавала чья-то игрушечная лодочка.

Тут-то мальчик и девочка, совершенно неожиданно для самих себя, и поцеловались, а поцеловавшись, до того смутились, что с преувеличенно громкими криками побежали куда глаза глядят и бежали до тех пор, пока не очутились на заднем дворе. Там гуляли батраки, пришедшие поздравлять хозяйку.

На сосновом столе, вынесенном из людской кухни на воздух, стояли: бочонок пива, два штофа казенного вина¹¹, миска жареной рыбы и пшеничный калач. Пьяная кухарка в новой ситцевой кофточке с оборками сердито подавала гуляющим батракам порции рыбы и наливала кружки.

Гармонист в расстегнутой тужурке, расставив колени, качался на стуле, перебирая басовые клапаны задыхающейся гармоники.

Два прямых парня с равнодушными лицами, взявши друг друга за бока, подворачивали каблуки, вытаптывая польку. Несколько батрачек в новых, нестиранных платках, со щеками, намазанными ради кокетства и смягчения кожи помидорным рассолом, стояли, обнявшись, в своих тесных козловых¹² башмаках.

Рудольф Карлович и Луиза Францевна пятились от наступавшего на них батрака.

Батрак был совершенно пьян. Несколько человек держали его за руки. Он вырывался. Юшка текла из носа на праздничную, разорванную пополам рубашку. Он ругался страшными словами.

Рыдая и захлебываясь в этих злобных, почти бешеных рыданиях, он кричал, скрипя зубами, как во сне:

— Три рубля пятьдесят копеек за два каторжных месяца!.. У, морда твоя бессовестная! Пустите меня до этой сволочи! Будьте людьми, пустите меня до него: я из него душу выниму! Дайте мне спички, пустите меня до соломы: я им сейчас именины сделаю... Ох, нет на тебя Гришки Котовского¹³, гадюка!

Лунный свет блестел в его закатившихся глазах.

— Но, но, но... — бормотал хозяин, отступая. — Ты смотри, Гаврила, не чересчур разорайся¹⁴, а то, знаешь, теперь за эти слова и повесить могут.

— Ну на! Вешай! — кричал, задыхаясь, батрак. — Чего же ты не вешаешь? На, пей кровь! Пей!..

Это было так страшно, так непонятно, а главное — так не вязалось со всем этим чудесным праздником, что дети бросились назад, крича, что Гаврила хочет резать Рудольфа Карловича и поджечь экономию.

Трудно себе представить, какой переполох поднялся на даче.

Родители уводили детей в комнаты. Всюду запирали окна и двери, как перед грозой.

Земский начальник¹⁵ Чувяков, приехавший на несколько дней к семье погостить, прошел через крокетную площадку, вырывая ногами дужки, расшвыривая с дороги молотки и шары.

Он держал в приподнятых руках двустволку.

Напрасно Рудольф Карлович просил жильцов успокоиться. Напрасно он уверял, что никакой опасности нет: Гаврила связан и посажен в погреб и завтра за ним приедет урядник...¹⁶

Однажды ночью далеко над степью встало красное зарево. Утром разнесся слух, что сгорела соседняя экономия. Говорили, что ее подожгли батраки.

Приезжие из Одессы передавали, что в городе беспорядки. Ходили слухи, что в порту горит эстакада¹⁷.

После праздника, на рассвете, приезжал урядник. Он увез Гаврилу. Сквозь утренний сон Петя даже слышал колокольчик урядниковой тройки.

Дачники разъезжались.

Вскоре экономия совсем опустела.

Петя постоял возле заветной кадки под старой абрикосой, похлюпал прутиком по воде. Нет! И кадка была не та, и вода не та, и старая абрикоса не та.

Все, все вокруг стало чужим, все потеряло очарование, все смотрело на Петю как бы из далекого прошлого.

Неужели же и море встретит Петю в последний раз так же холодно и равнодушно?

Петя побежал к обрывам.



Глава II

Море

Низкое солнце ослепительно било в глаза. Море под ним во всю ширину горело, как магний¹⁸. Степь обрывалась сразу.

Серебряные кусты дикой маслины, окруженные кипящим воздухом, дрожали над пропастью.

Крутая дорожка вела зигзагами вниз. Петя привык бегать по ней босиком. Ботинки стесняли мальчика. Подметки скользили. Ноги бежали сами собой. Их невозможно было остановить.

До первого поворота мальчик еще кое-как боролся с силой земного притяжения. Он подворачивал

каблуки и хватался за сухие нитки корней, повисших над дорожкой. Но гнилые корни рвались. Из-под каблуков сыпалась глина. Мальчик был окружен облаком пыли, тонкой и коричневой, как порошок какао.

Пыль набивалась в нос, в горле першило. Пете это надоело. Э, будь что будет!

Он закричал во все горло, взмахнул руками и очертя голову ринулся вниз.

Шляпа, полная ветра, колотилась за спиной. Матросский воротник развевался. В чулки впивались колючки... И мальчик, делая страшные прыжки по громадным ступеням естественной лестницы, вдруг со всего маху вылетел на сухой и холодный, еще не обогретый солнцем песок берега. Песок этот был удивительной белизны и тонкости. Вязкий и глубокий, сплошь истыканный ямками вчерашних следов, оплывших и бесформенных, он напоминал манную крупу самого первого сорта.

Он полого, почти незаметно сходил в воду. И крайняя его полоса, ежеминутно покрываемая широкими языками белоснежной пены, была сырой, лиловой, гладкой, твердой и легкой для ходьбы.

Чудеснейший в мире пляж, растянувшийся под обрывами на сто верст¹⁹ от Каролино-Бугаза²⁰ до гирла²¹ Дуная, тогдашней границы Румынии, казался диким и совершенно безлюдным в этот ранний час.

Чувство одиночества с новой силой охватило мальчика. Но теперь это было совсем особое, гордое и мужественное одиночество Робинзона на необитаемом острове.

Петя первым делом стал присматриваться к следам. У него был опытный, пронизательный глаз

искателя приключений. Он был окружен следами. Он читал их, как Майн Рида²².

Черное пятно на стене обрыва и серые уголья говорили о том, что ночью к берегу приставали на лодке туземцы и варили на костре пищу. Лучевидные следы чаек свидетельствовали о штиле и обилии возле берега мелкой рыбешки.

Длинная пробка с французским клеймом и побелевший в воде ломтик лимона, выброшенный волной на песок, не оставляли никаких сомнений в том, что несколько дней назад в открытом море прошел иностранный корабль.

Между тем солнце еще немножко поднялось над горизонтом. Теперь море сияло уже не сплошь, а лишь в двух местах: длинной полосой на самом горизонте и десятком режущих глаза звезд, попеременно вспыхивающих в зеркале волны, осторожно лежащей на песок.

На всем же остальном своем громадном пространстве море светилось такой нежной, такой грустной голубизной августовского штиля, что невозможно было не вспомнить:

Белеет парус одинокий
В тумане моря голубом!.. —

хотя и паруса нигде не было видно, да и море ничуть не казалось туманным.

Петя залюбовался морем.

Сколько бы ни смотреть на море — оно никогда не надоест. Оно всегда разное, новое, невиданное.

Оно меняется на глазах каждый час.

То оно тихое, светло-голубое, в нескольких местах покрытое почти белыми дорожками штиля. То оно ярко-синее, пламенное, сверкающее. То оно играет барашками. То под свежим ветром становится вдруг темно-индиговым²³, шерстяным, точно его гладят против ворса. То налетает буря — и оно грозно преображается. Штормовой ветер гонит крупную зыбь. По грифельному небу летают с криками чайки. Взбаламученные волны волокут и швыряют вдоль берега глянцевитое тело дохлого дельфина. Резкая зелень горизонта стоит зубчатой стеной над бурыми облаками шторма. Малахитовые доски прибой, размашисто исписанные беглыми зигзагами пены, с пушечным громом разбиваются о берег. Эхо звенит бронзой в оглушенном воздухе. Тонкий туман брызг висит кисеей во всю громадную высоту потрясенных обрывов.

Но главное очарование моря заключалось в какой-то тайне, которую оно всегда хранило в своих пространствах.

Разве не тайной было его фосфорическое свечение, когда в безлунную июльскую ночь рука, опущенная в черную теплую воду, вдруг озарялась, вся осыпанная голубыми искрами? Или движущиеся огни невидимых судов и бледные медлительные вспышки неведомого маяка? Или число песчинок, недоступное человеческому уму?

Разве, наконец, не было полным тайны видение взбунтовавшегося броненосца, появившегося однажды очень далеко в море?

Его появлению предшествовал пожар в Одесском порту. Зарево было видно за сорок верст. Тотчас разнесся слух, что это горит эстакада.

Затем было произнесено слово: «Потёмкин».

Несколько раз, таинственный и одинокий, появлялся мятежный броненосец на горизонте в виду бессарабских²⁴ берегов.

Батраки бросали работу на фермах и выходили к обрывам, старались разглядеть далекий дымок. Иногда им казалось, что они его видят. Тогда они срывали с себя фуражки и рубахи и, с яростью размахивая ими, приветствовали инсургентов²⁵.

Но Петя, как ни шурился, как ни напрягал зрение, по совести говоря, ничего не видел в пустыне моря.

Только однажды, в подзорную трубу, которую ему удалось выпросить на минуточку у одного мальчика, он разглядел светло-зеленый силуэт трехтрубного броненосца с красным флажком на мачте.

Корабль быстро шел на запад, в сторону Румынии.

А на другой день горизонт вдруг покрылся низким, сумрачным дымом. Это вся черноморская эскадра шла по следу «Потёмкина».

Рыбаки, приплывшие из гирла Дуная на своих больших черных лодках, привезли слух о том, что «Потёмкин» пришел в Констанцу, где ему пришлось сдать румынскому правительству. Команда высадилась на берег и разошлась кто куда.

Прошло еще несколько тревожных дней.

И вот на рассвете горизонт снова покрылся дымом.

Это шла назад из Констанцы в Севастополь черноморская эскадра, таща на буксире, как на аркане, схваченного мятежника.

Пустой, без команды, с машинами, залитыми водой, со спущенным флагом восстания, тяжело ныряя